

ГЛАВА 6

БЫЛ ЛИ СОВЕТСКИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСКУРС ГЕГЕМОНИЧЕСКИМ?

Борис Фирсов

Даже в тех случаях, когда мы думали по-человечески (кто хочет войны?), говорили мы на идеологическом языке.

А. С. Черняев. Совместный исход.

Дневник двух эпох. 1972–1991

Введение

Цитируемый в эпиграфе автор — Анатолий Сергеевич Черняев — свыше 20 лет работал в аппарате высшей власти в СССР. Его индивидуальная культура, воспитание с детства, образ жизни совсем не соответствовали тому, что ему приходилось делать по службе на протяжении большей части этого двадцатилетия. Черняев правдиво и открыто пишет о том, что слышал, читал, в чем участвовал. Приведенные слова из его дневника, на который я еще буду ссылаться как на важнейший для меня источник, написаны в 1972 году, в начале аппаратной карьеры.

Дневник Черняева полон свидетельств о том, как и почему сотрудники аппарата переходили с «человеческого» языка на официальный. Причин этого несколько. Во-первых, давило представление о стране как об идеологической державе, части международного коммунистического движения, вступившей в борьбу за утверждение коммунистических идей. Во-вторых, десятилетия приучили представлять любое явление только в терминах идеологии. В-третьих, от идеологии кормилось громадное число людей, весь общественный и партийный механизм. В-четвертых,

идеология помогала сводить личные счета, держать в узде науку, культуру, искусство. В-пятых, идеология слилась с фальшивой пропагандой успехов. Она выступала главным средством поддержания статус-кво и одновременно инструментом сокрытия истинного положения вещей (зерно покупали постоянно!) в условиях, когда Запад «врал», крича на весь мир о наших «трудностях».

Масштабы тиражирования этого языка заставляли думать не только о его неограниченных возможностях, но и о его вездесущности, всепроникаемости. Учиться марксистской науке было предписано всем и по одному и тому же учебнику, каковым был «Краткий курс истории ВКП(б)». За 15 лет, в 1938–1953 годах, он переиздавался 301 раз, общим тиражом 42 816 000 экземпляров на 67 языках и был средством унификации народного сознания на основании идей сталинизма, культа личности Сталина, концепции казарменного социализма. Его конвертация в учебник «История КПСС» (восемь изданий за 1959–1985 годы) сопровождалась отказом от критики Сталина и критики «Краткого курса». В итоге концептуальное сходство «Истории» с «Кратким курсом» было разительным. Мысль о выпуске еще одного «Краткого курса» КПСС не покидала высшее руководство партии вплоть до ее развала.

«Иначе думать и действовать КПСС не могла!» [Советская историография 1996: 269]. Ведь на этом языке говорили комсомол, органы советской власти, профсоюзы, средства массовой информации, к использованию этого языка вынужденно или по убеждению прибегали институты просвещения и образования, издательские комплексы и т. д. Однако главной средой, где этот язык порождался и формировался с целью распространения по всем клеточкам общественного организма, была сама КПСС.

Теория, провозглашаемая с амвонов научного коммунизма, являлась парафразом «Краткого курса истории ВКП(б)» и, по существу, фальсификацией канонического марксизма. Это были мифы, лишённые доказательной силы

и основы, фактически они разлагали общество вместо того, чтобы его цементировать (исходя из целей создания коммунистического общества). Впрочем, могло ли быть иначе, если язык идеологических мифов и язык реальной политики были взаимно неприемлемы [Черняев 2008: 59]. Мифология имела мало общего с действительностью, превращаясь в газетную тарабарщину. Ясно представляя себе, от кого это исходит, люди говорили о дряхлости правителей. Идеологический маразм все сильнее отталкивал детей от отцов [Черняев 2008: 178].

Начиная с 1970-х годов в философской литературе доминировал так называемый «академический марксизм». Его творцом был вице-президент АН СССР, академик П. Федосеев; образованные сотрудники и консультанты ЦК КПСС называли его не иначе как «федосеевским марксизмом» — пугливым, беспомощным, невежественным, неспособным поставить проблему, ибо его цель состояла не в проникновении в суть вещей, а в клеймении иностранных и в отлавливании отечественных ревизионистов [Черняев 2008: 45].

Сродни федосеевскому марксизму были доклады секретарей ЦК КПСС, руководивших идеологическими отделами и притязавших на роль людей, творчески применяющих марксизм-ленинизм для целей партии. Здесь особое значение имели доклады к памятным датам «красного календаря». Типичный продукт этого вида «теоретизирования» — доклад секретаря ЦК М. Зимянина о 107-й годовщине со дня рождения Ленина, который, по сути, был не более чем призывом равняться на школярскую теорию, преподававшуюся во всех без исключения советских вузах и отражавшую главную цель КПСС того времени: верность канону (доктринальному ленинизму).

Чаще всего в истории реально циркулирует не исходная доктрина, а ее изменяющиеся имитации, подделки, искажения исходного представления в сознании потомков, но именно они влияют на поведение людей. «Так, марксизм — это не обязательно то, что написал Маркс

в „Капитале“, а то, во что верят многочисленные воюющие между собой секты, члены каждой из которых считают себя его единственными последователями» [Липпман 2004: 115]. Слова, написанные в 1920-е годы, оказались пророческими и не утратили своей ценности в начале XXI века.

Хотя теория имеет первостепенное значение, официальный язык «сломался» не на теоретических этюдах, а на попытках его *массовой индоктринации*. Масса погасила революционный дух канонов тем, что постепенно отказывалась от веры в них. Пионером ослабления «взрывной силы марксизма» выступил Сталин. Затяжную им в 1950-е годы полемику с академиком Н. Марром Сталин использовал для того, чтобы отказать советскому обществу в возможности быстрых и внезапных изменений. Там, где нет враждебных классов, не нужны «взрывы». Подлинный марксизм, провозглашавший революцию повивальной бабкой истории, стал политически опасным для руководителя страны. Главный смысл этой теории состоял в том, что она предлагала единственный путь развития, в то время как на самом деле их было множество.

При этом сама мысль о кризисе учения Маркса в нашей стране считалась «святотатством», крамолой. Обсуждения марксизма и тем более сомнения в его канонах не допускалось. Идеологическая машина работала на полную мощность. В вузовских аудиториях читались лекции по основам марксизма-ленинизма. Эти курсы вели люди с вовсе не глупыми, но навсегда «засекреченными» лицами, говорившие без интонации и без эмоций, почти никогда не улыбающиеся и способные наизусть цитировать целые страницы из трудов основоположников. Они жили в мире властвующих над ними мнимостей, которые, несомненно, оказывались сильнее реальности. В этом мире ничто не обсуждалось, не аргументировалось и, в отличие от религии, все *претендовало* на аргументированность. Были среди них, марксистов, и откровенные идиоты, тупо читавшие свои лекции по затрепанным машинописным

листам, как один доцент Института имени Репина, уличенный во взятках и закончивший свою карьеру заведующим культурно-массовым отделом зоосада.

Но в большинстве своем это были люди разумные, этакие авгуры, даже сами себе не признававшиеся ни в чем, кроме истовой преданности излагаемым идеям. (Их психика раз и навсегда была поражена воспаленной верноподданностью!) За ними стояла таинственная ирреальная власть, они были прямыми инструментами верховного волеизъявления. Их боялись, и было за что [Герман 2006: 198].

Когда иные из них железным и стрекочущим голосом делали на лекциях персональные замечания, помня все фамилии, студенты чувствовали себя как в застенке и потому боялись педагогов-надзирателей до немоты.

По источникам велись конспекты, что было мучительно, поскольку, читая уничижительные пассажи Ленина про «ренегата Каутского», а Каутского, разумеется, не читав никогда, понять все это было немислимо и, главное, понимать не хотелось — неинтересно до столбняка. Но в нас неуклонно и безостановочно вбивалась мысль, словно солдатам-одногодкам: «Не отдашь честь, получишь наряд вне очереди». Иными словами — мы привыкали к обязательности бессмысленных ритуалов, мирились с ними, теряя силы и желание думать [Герман 2006: 199].

В 1970 году страна широко отмечала 100-летие со дня рождения В. И. Ленина. Как бы в память о вожде в это время рабочие и служащие, включая служивую интеллигенцию всех мастей, сдавали «ленинский зачет», обучаясь во всеохватной системе партийного просвещения. Наиболее добросовестные слушатели этой системы, отличники, получали от парткомов премию — пятитомник Л. Брежнева «Ленинским курсом». Изданный громадным тиражом, этот «шедевр» партийно-политической мысли долго пылился на затоваренных книжных складах, пока

не был изобретен освященный правилами «партийной религии» иезуитский способ продвижения пятитомника в массы граждан, интересующихся «современными вопросами теории и практики строительства развитого социализма». Избавиться от подарка было нельзя. Хотя в стране полным ходом шел сбор бумажной макулатуры, в обмен на которую можно было «достать» дефицитную художественную и приключенческую литературу, принимать пятитомник как «вторичное сырье» (по весу) было строжайше запрещено.

Прозорливость западных ученых и ряда коммунистических партий, европейских в первую очередь, в том, что касается констатации кризиса марксизма (и его советизированной версии), принципиально игнорировалась в Советском Союзе. Вера в неисчерпаемый познавательный потенциал марксизма — одна из причин того, что социальные дисциплины слишком поздно обратили внимание на альтернативы марксистскому (монистическому) пониманию мира. Монизм здесь выступал синонимом определенной теоретической «узколобости» (*narrow-minded scholars*). Именно он помешал увидеть кризис единственно правильного и непобедимого учения и сделать его предметом публичной научной дискуссии и постоянной темой обсуждения теоретических проблем и разделов общественных наук.

Публичный язык и вожди. Синявский пишет: «Складывается индустрия абстрактных слов и понятий, которые фактически ничего не обозначают, но тем не менее произносятся с апломбом в ходе переливания из пустого в порожнее. И это составляет верхний элитарный этаж советского языка и служит одновременно его метафизическим зерном и основанием» [Синявский 2001: 282].

Для меня это высказывание иносказательно, но образно определяет официальный регистр, подвластный и речевой стихии, и бюрократизации речи, но одновременно не способный перекрыть народную речь. Живой